

Д. Благой

«Арион»

Легендарное предание о древнегреческом поэте и музыканте Арионе (VII–VI вв. до н.э.) было широко известно и в древности, и в новое время. <...> Предание давало в руки Пушкина столь необходимую ему подцензурную, «эзоповскую» форму для постановки и разработки так волновавшей его темы об отношениях между ним и декабристами. <...>

В пушкинском «Арионе» отсутствует какой-либо мифологический элемент. Перед читателем — картина внезапно поднявшейся бури, потопившей судно — «челн», — на котором плыл со своими товарищами поэт, один спасшийся от постигшей всех катастрофы. С присущим Пушкину абсолютным поэтическим слухом — чувством стиля — поэт тонким подбором нескольких слов «высокого», порой прямо ритуального лексического ряда («мощны», «кормщик», «лоно», «гимны», «ризу») сообщает стихотворению, в соответствии с его заглавием, архаизирующий — античный — колорит. <...> И вместе с тем в сознании большинства современников, которые прекрасно знали легенду об Арионе и, конечно, должны были сразу же заметить, насколько отличается от нее данное стихотворение, неизбежно должна была возникнуть, как она возникла в сознании и самого Пушкина, ассоциация между содержанием стихов и недавним остродраматическим эпизодом жизни поэта — его спасением от гибели, постигнувшей декабристов. А раз так, в руки читателя давался ключ для правильного понимания всего этого стихотворения, которое легко прочитывалось как точное и вместе с тем тонко поэтическое воспроизведение одной из важнейших глав политической биографии поэта. Сходство это было столь разительно, что Пушкин, возможно по соображениям цензурного порядка, даже хотел было отказаться от повествования в первом лице, начал менять в беловике «Нас» на «Их», «А я» на «А он», опять вернулся к «я», снова переменял на «он», но в конечном счете решительно утвердился на изложении от первого лица.

Вместе с тем стихотворение Пушкина лишено того рассудочного и условного аллегоризма, который был столь характерен для классицизма и вообще поэзии XVIII века. <...>

В то же время образное иносказание проводится в «Арионе» с полной последовательностью — в точном соответствии с пониманием и оценкой Пушкиным дела и трагедии декабристов и своего в этом участия. Певец-поэт и его спутники дружно плывут на челне — одни в борьбе с водной стихией. <...> Самое плавание показано как тяжелый, упорный труд — сосредоточенно суровая борьба с неподдающейся враждебной стихией: «иные парус *напрягали*», «другие дружно *упирали в глубь* мощны веслы», «кормщик умный в *малнанъи* правил ... *грузный* челн». Поэт непосредственного участия в этом труде не принимает, но он активно помогает ему, делая свое дело, воодушевляя товарищей: «пловцам я *пел*». Пел, «беспечной веры *полн*» — слова, точно характеризующие настроенность Пушкина, в особенности до стихов о сеятеле (1923). Если пловцам было нелегко на их утлом челне бороться даже со спокойной стихией, борьбы стала безнадежной, когда она внезапно разволновалась, когда налетел «вихорь шумный». Это зияющее несоответствие «необъятной силы» и «ничтожности» средств, которыми располагали пловцы, чтобы противостоять ей, подчеркнута и контрастом между уже указанной тяжестью, трудностью плыть на челне, «править» его и абсолютной легкостью, выраженной не только в смысле слов, но и их звуковым составом, с какой внезапно обрушился («вдруг *лоно волн* *измял с налету*») и погубил пловцов («погиб и кормщик и *пловец*») «вихорь шумный» (отмечу реалистическую точность и этого эпитета в отношении рокового дня 14 декабря 1825 года — «несчастливого бунта»; «уничтоженного (так, примерно, в ту же пору писал Пушкин) тремя выстрелами картечи»).

Образы «непогоды», «грозы», «туч», «волн», «ветра», «бури» и т. п. неоднократно и настойчиво употребляются Пушкиным в качестве политических метафор. В стихотворном наброске «Кто, волны, вас остановил» поэт призывает революционную грозу. В стихотворении «Андре Шенье» революционные события во Франции в 1789 году именуется «священным *громом*», толпы народа, идущие на штурм, «могущими *волнами*». Но чаще метафоры этого рода преобразуют у него самодержавный произвол, насилие. К метафорическому ряду с именно такой смысловой наполненностью относится и образ «грозы» в «Арионе». Но та же «гроза» (уже не давний гонитель поэта Александр I, а вернувший его из ссылки новый царь), которая погубила «пловцов» — политических спутников поэта, его самого теперь, как раз наоборот, спасла от гибели: «На берег выброшен грозою» (поэт хотел было смягчить жесткое и энергичное «выброшен» и заменил на «вынесен», но в окончательном тексте вернулся к первоначальному варианту... Это «спасение» в сознании Пушкина, несомненно, являлось не только счастливой случайностью, а и подтверждением мощи его поэтического дара, благодаря которому ему удалось укротить «свирепость» бури. С этим, несомненно, связан и эпитет «*таинственный певец*» — единственное «романтическое» слово во всей лексике стихотворения. В этом отношении для Пушкина также был очень с руки образ Ариона, пение которого, по Овидию, успокаивало волнующиеся воды, примиряло враждующих зверей. Что касается метафорического строя двух заключительных строк стихотворения (проникнутые «надеждой славы и добра» образы «солнца», «скалы»), в них, бесспорно, отразились все те же иллюзии поэта в отношении Николая I.

Как видим, вся система образов пушкинского поэтического иносказания точно соответствует кроющимся за ней реалиям. Но значение стихотворения всем сказанным не ограничивается. Оно не только метафорический «протокол» того, что произошло с друзьями поэта и с ним самим, — оно является и актом самосознания, четкого самоопределения поэта в резко изменившихся общественно-исторических условиях. И потребность такого самоопределения возникла в нем в процессе творческой работы именно над этим стихотворением. В послании в Сибирь Пушкин выражал чувства неизменной дружбы, горячего сочувствия к жертвам трагедии 14 декабря. Там же эпитетом *высокие* дана сочувственная оценка их помыслам и стремлениям, которые не пропадут и которыми они вправе гордиться. Призывая к гордому терпению, поэт тем самым призывает к верности высоким помыслам. Ну, а сам их «певец», после того как в результате происшедшего он утратил былую «беспечную веру», стал глядеть на трагедию 14 декабря объективно-исторически, сохраняет верность этим высоким помыслам — ненависти к тирании, идеалу свободы? И если сохраняет, то носит ли эта верность пассивный характер, или она находит активное отражение в его «делах» — в его художественном творчестве? Эти вопросы и им подобные, безусловно, возникали в творческом сознании Пушкина, когда, полный мыслями о том, что произошло год назад (гибель «пловцов»), он писал своего «Ариона». Это подтверждается сменой вариантов в отношении наиболее значительной и весомой строки, хотя и поставленной не в самый конец (третья с конца), но несущей на себе наибольшую нагрузку и потому являющейся завершением всего стихотворения, его идейно-смысловым пунктом. Вначале строка эта читалась: «Гимн избавления пою». В таком виде она логически вытекала из всего стихотворения, но не давала никакого ответа на указанный выше вопрос и даже, больше того, могла бы дать повод к ложным толкованиям в духе обвинений поэта в измене и своим бывшим друзьям, и своим прежним идеалам. Поэтому можно думать, что эта строка способствовала самому появлению в сознании поэта данного вопроса. А раз он возник, поэт сразу же дает на него совершенно недвусмысленный, четкий ответ. Строка исправляется: «Я песни прежние пою». В таком виде она прямо перекликается с более ранней строкой: «Пловцам я пел», утверждая прямую — в лоб — преемственную связь между прошлым и настоящим. Ясность ответа, видимо так же, как и повествование от первого лица, вызвала опасения. Строка опять приобретает новый,

третий вариант: «Спасен Дельфином, я пою». Но теперь уже (при несомненном наличии в сознании поэта вопроса о его позиции после крушения восстания и гибели его участников) этот вариант, и вообще вступающий в противоречие с реалистическим строем стихотворения, и, кроме того, способный вызвать чересчур прямолинейные ассоциации (по-французски слова «дельфин» и «дофин» — синонимы), Пушкина никак не мог удовлетворить. И вот он возвращается ко второму из вариантов, заменяя только слово «песни» подсказанным первым вариантом словом «гимны», которое находится в полном соответствии с историей (Арион считался создателем дифирамба как жанра) и, главное, дает представление о высоком гражданском пафосе песен поэта, действительно в этом отношении являющихся «прежними». Вспомним хотя бы в оде «Вольность» слова о «гимнах смелых», внушаемых «Свободы гордою певицей». Правда, теперь поэт не грозит царям, не поражает на троне порок, но потому, что он поверил в намерение Николая склониться главой «под сень надежную закона» — пойти путем преобразований — и поэтому готов всеми доступными ему средствами — силой своего творческого воздействия — этому способствовать. Но пафос воспевания «свободы миру» в нем жив, как прежде. <...>

И вот, наконец, складывается искомая строка: «Я гимны прежние пою». И именно эта строка в окончательном ее виде придает стихотворению все его значение, ставит его на центральное место в цикле пушкинских стихов, написанных после возвращения из ссылки и связанных с темой «поэт и декабристы», делает его декларацией верности поэта освободительным идеям и стремлениям, его художественно-политическим кредо. В качестве утверждения этого кредо поэт будет использовать образ Ариона и в дальнейшем. <...>